

АНДРЕЙ АНТИПИН



## ЖИВЫЕ ЛИСТЫ

Из книги миниатюр

### “И ЖАЛЕЕШЬ, И ЛЮБИШЬ МЕНЯ...”

К обеду разъяснило. Солнечно. Рябь таловых озёр...

В лугах увязалась молодая доверчивая телуха. Такая же ласковая и жёлтая, как солнце. Побежала с рёвом, поддевая рукав языком. Едва отогнал сломленным прутиком полыни. Долго стояла, глядела в спину; не могла понять: за что я её? И почему-то пришли на память стихи покойного самарского поэта Михаила Анищенко:

*Оглянусь: ты стоишь у плетня,  
Ожидая, что всё-таки струшу...  
И жалеешь, и любишь меня,  
Как свою уходящую душу.*

...Я хотел бы думать, что не уйду бесследно, останусь в птице, в облаке, в проплывшей льдине... Или, на худой конец, — в строке. Но не могу себе сообразить: никогда, нигде и ничем больше меня уже не будет. А пока я ещё есть, что меня ждёт? Разве что вот это потрясающее русское одиночество, когда — земля да небо, и никому ты в целом свете не нужен — ни отцу, ни царю...

---

*АНТИПИН Андрей Александрович родился в 1984 году в селе Подымахино Усть-Кутского района Иркутской области. В 2008 году заочно окончил факультет филологии и журналистики Иркутского государственного университета. Публиковался в журналах “Наш современник”, “Сибирь”, “Юность”, “Молоко”, “Москва”. Автор книг “Капли марта”, “Житейная история”. Лауреат литературных премий. Член Союза писателей России. Живёт в родном селе.*

---

Продолжение. Начало в № 4 за 2020 год

И только телуха стоит, смотрит в спину. И жалеет, и любит меня.

## БУМАЖНЫЕ ЗМЕИ

Уехали дальше на Север соседи. Всё утро таскали сумки, коробки. Последним пронесли кота в специальном домике для животных.

И как всегда у меня — грусть-печаль оттого, что уже никогда не увидишь! А ещё — тоска по лучшей жизни, но и обида за ту, что прожили рядом, как будто её, эту жизнь, в чём-то предали.

Вечером, проходя мимо, заглянул в ограду. Калитка открыта. Нехорошо. Пусто.

Так, наверное, после моей смерти кто-нибудь заглянет в мою книгу — и, может быть, ужаснётся моему отсутствию, моим словам без меня, бумажным змеям без человека внизу.

## ГОРЯЩИЕ ИЗБЫ

Какая-то баба Надя из Киренска. Услышав радиопередачу, в которой артистка читала отрывок из моей повести, — расплакалась, позвонила в редакцию, спросила, можно ли опубликовать в их городской газете “Ленские зори”. “Чтобы, — говорит, — мы читали!”

...Эти бабы Нади — мои читательницы. И мой крест. Искать отклика, а точнее, находить его в старых людях — дорогого стоит. Но они, эти старые люди, не сегодня-завтра умрут — и вместе с ними умру я, ведь ни в ком больше я не нашёл себе продолжения. Стало быть, на роду написано — короткий век в литературе...

Всё равно, что входить в горящие избы! А баба Надя плачет. И я вхожу в эти избы. И избы — горят.

## НАЦИОНАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

На ночь глядя — драка возле клуба. Талантливая. Страстная. С падениями от ударов и взаимными оскорблениями по материнской линии. А главное, не из-за чего. Просто один не туда посмотрел, второй не то сказал, третий не так понял, четвёртый заорал: “Ты меня уважаешь?!” , а пятый выломал штaketину, подскочил и ка-ак даёт шестому по башке!

— Ты, — кричит, — с моей Валькой нюхался!

Шестой, понятно, мордой в грязь, а седьмой — Валькин брат — бутылкой хря-ясь! Кого хрясь, я не рассмотрел. Понял только, что пошло дело. Первый на второго, третий на четвёртого, седьмой — растаскивает, а когда надоедает — бутылкой! А пятый, который всё и начал, хватается за мобилу и давай кому-то звонить:

— Казаркинские на глубоковских прыгнули!

Тут шестой очнулся, коленки отряхнул и седьмого схватил за нос, чтобы оторвать. Спасибо, клубная сторожиха воспрепятствовала, выскочила на крыльцо и ну хайлать:

— Щас Коршунов-мент на “жучке” приедет, все-е-ех в обезьянник увезёт!

В это время из клуба набегали шмары, подруги этих драчунов. Давай растаскивать в разные стороны. А Валька даже туфель сняла на громадном каблукe, скачет с ним в руке, как на полтора ногах, то одному, то другому звезданёт.

— Я вам, — визжит, — все мoзги вынесу!

Ну, кое-как развели! Хотя пятый не хотел расходиться, опять схватил свою штaketину, догнал в переулке и ка-ак хлобыстнет шестого! Чем-то он ему очень не понравился.

Но и пятого уговорили, немного попинали и унесли. И вовремя! Потому что мне тоже кровь свернули, и нестерпимо захотелось — выскочить за калитку и ударить в прыжке, а наутро стать героем деревенских новостей:

— Слышали, антипинский дурачок отмочил?! Шары закерогазил стеклянные и половину деревни отмудохал! Вот тебе и тихуша, книжки пишет...

А ещё я в очередной раз с удовлетворением отметил, что всё-таки грубый мы народ — русские. Дикий. Пещерный. Правильно нас не любят! Ведь для нас мало по рогам настучать — надо до Берлина дойти, всё разрушить, кумач водрузить и стены некорректными выражениями исписать. Мы уж если за Родину — так насмерть, а за бабу — чтобы клубный штaketник ломался на черепа у врага. Да и врага уронить — недостаточно: треба, чтоб рылом землю пропахал.

## ЖУРАВЛИНЫЙ КЛИН

На закате спустился к реке, по колена, а затем по пояс, по горло — по мере того, как сходил под угор — погружаясь в речную прохладу: утки туда-сюда. Потом два гуся — низко-низко. А следом над тайгой по ту сторону Лены — журавлиный клин, не меньше двадцати пяти. Высоких, торжественных, бередящих! Летящих всё равно что со страниц школьных хрестоматий с их простыми добрыми картинками и вечными тремя вопросами после текста, в конце.

А за ними — тоже слаженной стаей, притёртые одно к другому, спевшиеся за долгие дни и ночи кочевья по черновикам, во мраке и морозе одиночества, — потекли слова, возвращаясь, как из тёплых краёв на Север, из памяти в холодную действительность:

*Не слышно звонкогорлых птиц —  
И вдруг незримо раздвоится,  
Как отмахи вязальных спиц,  
Серебряная вереница...*

И пока журавли летели, уставшие и молчаливые, пока слова этих давнишних юношеских стихов звучали во мне, и дышала — река, я всё как будто стоял на высоком солнечном угоре, на самом взгорье жизни, где ближе небо и облака, света больше, а простора, веры и сини впереди — непочатый край. Но когда, наконец, и журавли утянули за перевал, с металлическим проблеском крыльев растворяясь на сумеречном фоне вечернего леса, словно кто-то вправил иглой вылезшую стёжку, и когда строчки, отрывав, оборвались многоточием, черновиковой недописанностью и недосказанностью, в которой теперь видится что-то вещее и заповедное, — я точно сошёл под этот очень крутой угор, на дно речной долины, и оказался там, где ещё недавно, пока я стоял на угоре, зыбилась моя тень. И тогда навалилась такая тень, обступило и сдавило таким холодом, как если не журавли пролетели, не строчки выгребли из старых записных книжек, а — жизнь проплыла перед глазами, расклинив на две половины — *до* и *после*...

Что это со мной было? Зачем? Почему?

## СБОР СОКА И ПОЭЗИИ

Закрыв сезон берёзового сока. Он хотя ещё бежит, но уже не так сладок, как вначале, вдобавок стал мутнеть и давать осадок в виде белых створоженных хлопьев. К тому же почки на берёзах раскрылись клейкими листочками, ещё вялыми, сонными, как выдупившиеся птенцы. А это значит, цедить сок из берёзы — всё равно, что забирать молоко у кормящей матери...

Шёл к последней своей берёзе, под которой стояла склянка, — и во мне тоже кто-то “шёл”, подпирая себя ударениями:

*Я тонко чувствую: вот-вот  
То, что уже не будет прозой,  
Однажды горлом протечёт,  
Как сок из взрезанной берёзы.*

Но коль скоро и сок в берёзах останавливается, то и стихи, перепав несколькими строчками, умирают. Ведь эти явления — сок из надрезанной берёзы и стихи — очень схожи, ибо в метафоре берёзового сока (вернее, в сборе его, а прежде в ожидании сбора) сокрыта вся суть поэзии. Как сок в берёзах бывает только весной, во время естественного пробуждения природы, так и поэзия должна говорить в высокий миг жизни. Поэтому я по старинке ощущаю себя берёзой, ждущей своей творческой весны. И если не будет стихов — не беда, ведь сок-то был, а значит, была в моей жизни и поэзия.

## СВОБОДА

Вдоль берега, вывернув камни и дресву, протянулась длинная узкая канавка. Это нынешней весной пьяный тракторист проехал с опущенным плугом. И в эту постепенно наполнившуюся водой канавку, как в садок, я бросил ельца, которого поймал на рассвете, едва закинул удочку. Елец какое-то время постоял, точно соображая, что бы ему предпринять, куда бы с горя податься, если всё кругом — чужое (а на деле, может быть, преодолевая боль от свежей раны, нанесённой крючком). Потом, вероятно, придя в то состояние, которое мы называем “взять себя в руки”, внимательно обследовал стены канавки, потыкался в зелёное бутылочное стёклышко, как в глазок тюремной двери, и скоро каким-то своим чутьём разгадал, за какой из двух противоположных бровок — река, и стал искать к ней выход.

В это время прошёл сухогруз, горбясь огромными железными контейнерами с мукой, которую транспортируют по большой воде на север Иркутской области, в Якутию и морские арктические районы от Хатанги до Колымы. Накатила коричневая от глины волна, захлестнула канавку. Но и когда муть осела, елец долго не показывался, схоронясь за земляным отвалом, оставленным плугом. Наверное, в этот миг свобода родной реки показалась ему не такой уж сладкой, а заточение в канавке — не столь горьким. Впрочем, это его состояние длилось недолго. И вот уже елец, теперь и по набежавшим волнам угадав, в какой стороне река, снова заметался, пока, наконец, не перепрыгнул невысокую бровку. Я не стал его ловить, когда он заплесал в молодой траве, и елец благополучно юркнул в воду. Однако уплыл недалеко: подоспевшая чайка, раскрыв клюв, ударила по нему, выщипнула с мелководья и понесла, как серебряную ложку.

## ПЕРВАЯ

“Влюбилась с первого взгляда, поженились, жили душа в душу и умерли в один день...”

А в жизни: забросили удочки, и поплавки поплыли рядом.

Я:

— Видишь, наши поплавки уже познакомились!

...Было это на летних каникулах. Катались потом за посёлком на велосипедах, упали, приклеивал к её разбитой коленке нализанный подорожник. Обменялись адресами — и ни разу не написали.

## РЕКИ

Девичество — река, которую можно переплыть кому-то одному. Женщина — река многих. И как в девичестве был предел, где оно, собственно, заканчивалось, так в женщине берегов нет, одно только желание быть рекой.

## КАМНИ И ПЕСОК

Есть камни на берегу: водой точит, точит — и покрываются трещинками, распадаются на куски, а те, в свою очередь, раскалываются на более мелкие и снова превращаются в песок.

А есть гладыши: сколько ни точи, они от этого лишь крепче и красивее. Есть народы: со временем чахнут, слабеют и вырождаются... Страшно стать песком.

## КОРШУНЫ

Утром пахали огород под картошку. Ровно и чисто — дядя Костя Аржав. Последний — из тех, прежних. Пашет на скорости. “Так оно пушистей!” — объясняет.

Высаживали втроем — мы с отцом и тётя Галя, почти не останавливаясь на перекур и не разговаривая. Кое-где всё-таки попадают нераспаханные комья, и отец говорит о них, что дед, будь он жив, обязательно разбил бы деревянной колотушкой.

Наши десять соток — взрыхлённая лента земли, со всех сторон заросшая бурьяном, который на Лене называют будьёлой. На её месте раньше тоже были огороды. Но люди побросали их. Так, спасаясь от огня, оставляют дома, землю. Огонь рано или поздно отступает, и люди возвращаются. Эти не вернулись. Может быть, огонь ещё рядом?

Три сгорбленных человека — в лебеде и польни, посреди дремотного русского простора. А когда-то на огороды (их у нас было несколько, в сумме чуть меньше гектара) высыпала орава: дед с бабкой (эти степенно шли, а не “высыпали”), Мишка и Вечерины: тётя Галя, Сашка и Катька с Надькой, и мы из Казарок: отец, Серёга и я. Между первой и второй чеченской вернулась из Ростова тётя Валя. Иногда (это уже позже) помогал дядя Коля, за год до смерти — Дядька... И только на огороде Людмилы Степановны было больше — приезжала ватага из города. О нас же говорили:

— Вон они... опять вышли!

И мы — выходили, как сам русский народ выходил — в поход на врага, в поле на рожь или за околицу — девок портить и драться, песни петь, “водка пить, земля валяться”!

Но вот — только я, да отец, да тётя Галя, да трава забвения на всю Россию, которая опять в дыму от лесных пожаров, солнце — едва-едва за плотным и белым. И когда после работы, как в лучшие времена, сидели с отцом на высоком крыльце дедовской нежилой избы, а тётя Галя, как раньше бабушка, облокотилась на перила, — над дичающим полем, над гривой горящего леса один за другим с широкими размахами крыльев пролетели семь больших ржавых коршунов. И что-то страшное, последнее было в этом. Исход чего-то вдруг ясно увиделся и почувствовался в этот миг, и как в огороде нечего было сказать о наступающей будыле, так не нашлось слов и теперь, когда коршуны летели над русской землёй и тревога за неё, за судьбу её становилась тем сильнее и кровоточивей.

## ПАХАТЬ И СЕЯТЬ

Стояли на меже, смотрели, как дядя Костя пашет, — подошёл Нетёсов. Говорит: “Покурите!” (в смысле, уделите ему минутку-другую). Принёс в пакете жёлтые листочки. Раздобыл на чердаке бывшего подымахинского сельсовета. Справки, выписки, отчёты... Довоенные, военные годы. Рассказывает, что хозяин (сельсовет переделали в частный дом) два дня топил ими печь.

...Нетёсову за пятьдесят. Родился в Орленге (это выше по Лене), но большую часть жизни прожил в Подымахино, куда распределили отца-

учителя. Дом его на въезде — с просторной оградой, с хозяйственными постройками и удобным выходом в луг и на огород. Старый дом, тесный. Строит новый — большой, брусовой, с тёплой мансардой. Осталось покрыть. Но денег в обрез. Ждёт, когда накопятся от продажи сливок и творога. У Нетёсова — приличное по нынешним временам подсобное хозяйство: несколько дойных коров, телята, гуси, куры. С утра до ночи в трудах. Летом, само собой, косит и ставит сено. В общем, крестьянствует. Этим живёт вся его семья. Дети — Иннокентий, Антонина — учатся в школе. С детства приучены к труду. Носят дрова и воду, управляют скотом и — проворные, рукастые, в белых, как у матери и отца, солнцезащитных косынках — послушно помогают на сенокосе. Зимой трелюют копны по замёрзшей Лене: Кешка с Тонькой тянут за стропу, которой обвязано сено, а Нетёсов сзади толкает вилами, поправляя очки...

Нетёсов, несмотря на постоянную занятость, находит время заниматься историей наших деревень. Сидит до полночи в интернете, сотрудничает с краеведческими музеями, библиотеками, списывается с другими такими же самодеятельными, как и сам, исследователями, обменивается информацией. Ищет и читает книги по истории Приленья, уточняет данные о погибших земляках — ветеранах Великой Отечественной войны, для чего вдоль и поперёк прошерстил поисковый сайт “Подвиг народа”. Иногда приходит с котомочкой к моему отцу-краеведу. Приносит какие-то ранее неизвестные сведения, фотографии, дополнения к списку имён, высеченному на мемориальной стене во дворе школы. Но главное — приносит мысли, точнее — радение за своё, родное! Подключил к этому делу старшего брата, который живёт в Иркутске. Вместе ездили в областной краеведческий музей, а потом и в Санкт-Петербург, где работает историк Красноштанов — автор трёхтомника “На Ленских пашнях в 17 веке”.

Интернет в посёлке совсем захудалый, едва-едва загружает страничку, да и то не с первого раза, прежде долго крутит заветное колёсико. Так Нетёсов прибил во дворе жердь с закреплённой на конце маленькой спутниковой тарелкой, платит 840 рублей в месяц и спокойно открывает, что ему нужно. Лет пять назад он даже создал свой сайт с немудрёным названием “Деревенька моя”. Выставил фотографии наших окрестностей и самих деревенских жителей, а также материалы о них из районной газеты. И мои рассказы, в том числе — “Плакали чайки”. Говорит:

— Дочка Иннокентия Ивановича спрашивает: реальный случай или вымысел?

...И вот стоим на меже, разговариваем, листаем пропахшие пылью и тленом тетрадки. А над нами, как ангелы белые, — облака. И скворцы, отыскав в пахоте червей, несут в клювах в свои скворечни, установленные над крышами старинного сибирского села. И повсюду, куда ни глянь, — будды! Сошлась и топчется у самых стен. У ворот ворогом. Но дядя Костя — пашет. И Нетёсов — сеет, спасая из огня...

## ПО СЛЕДУ ОРДЫ

Я шёл через молодой и солнечный, но уже обезображенный и униженный лес, по красному от разорванной глины и всё разрушившему на своей дороге тракторному следу, как за промчавшей по Руси Ордой. Казалось, вот-вот она прошла — с гиками и свистом, с топотом коней и нахрапом нагаек, опустошая русские селения, заливая их кровью, насилуя женщин и увозя за волосы в полон, детей и непокорных — убивая, а над стариками и беззащитными потешаясь злобно и неумно. И одна мысль не шла у меня из головы, завоёвывая на своём пути другие мысли, пока я не сразил её карандашной стрелой и не поднял на бумажный щит:

Что ПРЕТИТ имеющему власть не ГЛУМИТЬСЯ над властью не имущими, а человеку на КОЛЁСАХ — свернуть в сторону перед молодыми деревьями?

## РАСПЕВ ЛЕТА

Солнечные душные дни, вчера омрачённые косым дождём, прохладой и рваной хмарью. Небо то густо-синее, то нежно-голубое, а то пламенно-розовое. И это необъяснимо хорошо — вольно смешивающее акварели небо! Изредка всё же проплывают — как щуки в омуте — ненастные, лохматые. Как в детстве, ждёшь грохочущих колесниц Ильи-пророка, сверкания молний, залпов стремительного июньского ливня...

Грозы нет. Омовение в огородной бочке — а пыльным деревьям как? В реку не шагнёшь, тем более река, входя в межень, сама бежит всё дальше от леса, от босоногой ребятни ускользнуть не умея.

На закате облака и вовсе красные, арбузные. Будет завтра знойный день! И весь он наполнится тем, что только — солнце в небе, да в сенцах пипучий домашний квас, кислый от жжёных корок, а прежде (ещё во дворе) — пышный запах его. К обеду нагреется, как в теплице, и ребятишки припустятся к Лене стремительным босоногим топотом, с налёта загребая крупной размашкой в сторону бакена или с визгом сгиая вниз головой с врытой в берег доски-нырjalки. А старшеклассницы в коротких юбках и белых гольфах пойдут из школы с последнего экзамена. И до истомы, до помутнения в голове захочется опуститься в ноги, обнять за икры и медленно, долго, всем ртом целовать в ямочки за коленками, в их влажный солоноватый холод, как если бы это твоя юность шла накануне большого разочарования и ты, зная задним числом, что оно грядёт, не просишь, не умоляешь юность остановиться, но даришь ей это последнее тепло жизни.

## РЫБЫ

Пока бросаешь — все здесь, сплываются на хлебный мякиш. Перестал бросать — и нет ни одной. Или, может быть, это тебя для них больше нет, а сами-то они как были, так и остались, и потому только не сплываются, что не бросаешь?

И тоже: вся надобность в тебе — разве что в этом хлебе! Но и у тебя надобность — в этих рыбах. И модель вашего союза — тебя, бросающего корм, и рыб, на него сплывающихся, — легко можно перенести на взаимоотношения писателя и читателей, актёра и зрителей, музыканта и слушателей, во всех трёх парадигмах если и объединённых между собой какой-либо внутренней связью, так это знаменателем такого тратящегося понятия, как жизнь автора.

## ГОСТИ В ДЕРЕВНЕ

Нынче навестили посёлок иностранцы. Не то сотрудники какого-то международного института народной культуры, не то ещё кто. Приехали в специальном микроавтобусе, выделенном по договорённости с мэром района. Остановились в школе, там и харчевались. Ходили по улицам, фотографировали. Искали остатки храмов и приметы старины. Что-то записывали. Разговаривали между собой на отличном русском:

— Эти знаменитые избы... О них ещё Чехов писал в “Мужиках”, а потом — Белов, Астафьев... Даже Бродский, если мне не изменяет память, оставил впечатления от архангельской ссылки...

— А в здешних видах по-своему превалируют темы позднего Серова... Вы не находите, коллеги?

— Полагаем, да. И говорят по-народному! Знаете, этот хорошо известный нам сибирский говор, как в повестях Распутина...

Шёл по улице Петрован — окликнули так, как, вероятно, в их представлении окликают деревенских мужиков:

— Эй, мужчина!

Петрован был с бодуна, поэтому сразу обиделся:

— На “эй” зовут свиней! — и кроме ничего не сказал. Грубый, сиволапый.

Попросили в одном из домов попить, им вынесли в ковше. Разглядывали, как будто силясь найти что-то такое, чего никогда не видели в жизни, но о чём писали в их книжках, и поэтому ими был сделан вывод, что “это” — обязательно должно быть.

Серафима Ивановна, хозяйка ковша, всё поняла — и тоже обиделась:

— Да нет у нас тараканов! Всех карандашиком потравили... — а когда гости пригубили и ушли, выплеснула опивки на дорогу.

Пастухи разложили под угором костёр, повесили котелок. Так иностранцы и к ним подстушили, мечтая, чтобы в котелке у пастухов попевала грибная похлёбка, как в рассказе Бунина. И уже загодя стали стонать “м-м-м!” и водить носом по ветру.

— Суп из бич-пакетов! — охотно объяснила Наташа, жена пастуха, который в это время улизнул в магазин за “Боярышником”. И это вместо того, чтобы вынуть из реки бутылку с молоком и достать из котомки деревянные ложки! Гости разочаровались, ведь ни в одном произведении литературы, ни на одной картине в Третьяковке не было такого, чтобы пастухи варили суп из концентратов и шли лосьон для лица.

Я смолчал и ставил столбы для забора, утрамбовывая землю в основании кирпичными сапогами, когда объявилась делегация из трёх незнакомых женщин в сопровождении местной учительницы истории. Увидев меня, учительница шепнула так, что мне стало слышно:

— А это и есть наш писатель!

Обступили, осмотрели, обсудили. Дали совет, как правильно устанавливать столбы. Их, оказывается, прежде следует обработать химической жидкостью против гниения. Какой именно, иностранцы не вспомнили, но об этом был сюжет в телепередаче “Фазенда”.

— И кирпичные сапоги на нём! — когда я отправился за паяльной лампой, чтобы растопить в ведре застывший гудрон, которым я по своему деревенскому невежеству обмазывал столбы, в спину мне восхитилась одна.

— Как у Шукшина, — догадалась другая, видимо, руководительница группы.

К вечеру все знали, что в посёлке — гости. Так и разнеслось: “Иностранцы в деревне!” А глава администрации даже прокатился на мотоцикле с дощатым коробом вместо коляски и попросил мужиков, чтобы шатались пьяные и таскали баб за волосы. А самим бабам наказал ковырять в носу и кормить сиськой на лавочке у дома. “Иначе, — говорит, — в центральной печати не напишут...”

Смех — да и только!

Правда, позже выяснилось, что это были не иностранцы, а музейщики из Иркутска. И вот тогда стало по-настоящему грустно, и настигли горькие гоголевские слова: “Велико незнание России посреди России”.

## ВЕРА

Взялся с утра готовить материал для давно задуманного забора. Но что-то не заладилось, может быть, оттого, что надлежало пилить и строгать, в то время как томились ненаписанными повести и рассказы. Зря измаялся, в конце концов психанул, вывел велосипед из сарая и укатил на Затон. Дёргал ельцов и гольянов, прикормив горстью-другой гранулированного комбикорма, да прихлёбывал из фляжки, правда, не коньяк, как того требовал кодекс рыбака, а настой смородиновых листьев. Успокаивался на речном ветру — медленно, не сразу, как будто постепенно погружали в воду раскалённое железо. А пастух Азат — молодой приветливый татарчонок — в эту пору то сидел, то лежал под угором, на зелёной траве. Лошадь, привязанная к берёзе, лежала рядом, подобрала ноги, а стадо паслось в низине у речки. И весь долгий летний день — о чём думал? Что виделось его чёрным, как ночь, глазам? Тужила или, наоборот, радовалась душа?..



С юности очень беспокоили меня такие люди. Как они? Что они? Зачем? “Зачем?” не потому, что мне представляется сомнительной необходимость их существования, а оттого что так маняще для меня их собственное понимание о себе в мире: “Кто мы? Что мы? Для чего?”

...Азату чуть за двадцать или около того. Своей семьи нет, живёт со старшей сестрой, у которой муж и выводок детей. С весны до поздней осени пастишит, погоняя три десятка голов частного скота, да примерно столько же — бывшего совхозного, ныне записанного по ведомству сельхозартели, которой заведует местная фермерша. Ввиду малочисленности общего поголовья его теперь не двоят, а, напротив, сдваивают. Это выгодно в смысле найма одного пастуха, да и безопасно, не в пример прежним временам, когда шло с вечерних лугов грузное деревенское стадо в облаке выющегося гнуса — мужики жались к обочине, двигалось навстречу другое такое же с совхозным быком в голове — пацаны всакакивали на заборы, а встречались оба на тесном перекрёстке возле столярки — бабы, подобрав подола, кидались врассыпную, только пятки сверкали... Ну да когда это было?

Азат, пожалуй, и не помнит, ловко гарцуя между редких нынешних коров, телят и низкорослых, со следами вырождения, быков. В прочее время работает здесь же, при сельхозартели, скотником, либо чем другим помогает по хозяйству. Зарплату выбирает продуктами и молбчкой — сливками, творогом и молоком. Иногда — в счёт будущих выплат или накопившейся задолженности — толкает впереди себя телёнка, намотав хвост на руку. Когда перепадает деньгами, Азат запивает, и племянники с племянницами ищут его по посёлку. На другой месяц денег уже не видит, их по сговору с хозяйкой получает Назима — сестра Азата. И он устраивает небольшую забастовку, но через день-два — снова в лугу или на скотном дворе...

После обеда он подъехал к реке напоить лошадь и заодно узнать, который час. Услышав “без десяти четыре”, улыбнулся обветренным лицом.

— А то, — говорит, — рано пригонию! — И галопом взлетел на угор, а снизу, от воды, показалось — как будто под синее летнее небо взмыл...

Счастливым человеком! И часов у него нет!

И когда он уехал — дальше пасти своё стадо, пить молоко из бутылки и есть в тени ольхи хлеб и огурцы, чтобы с заходящим солнцем пригнать усталое стадо в посёлок, — я поёжился от мысли: как это ужасно было бы, окажись рядом такой человек, который поведал бы об Азате какую-нибудь бытовую мерзость...

Так хочется верить в людей.

## ПРОСТЫЕ ЛЮДИ

Миха Шмурак — горластый запойный мужичок — переплыл в лодке на ту сторону Лены. Горбовик при нём. Два ведра. Собака. Баба. Перебрёл заводу за галечной косой, расправив бродни. Бросил ведра и горбовик, вернулся за бабой. Взлезла на горб, поехали тихой подводой.

— Ништяк?! — любопытствует Миха.

— Ништя-як! — успокаивает баба.

Оба — уже с утра “весёлые”, оборванные жизнью о её железные зубы. Миха — отсидевший за убийство собутыльника, которому стёр кирпичом лицо. Также о нём болтают, что оглушил и утопил в реке Саню Белого. Она — хромоногая и страшная, губы — как синюшное мясо. Волосы мочалкой. Не идёт — чепается (как если бы шла по мху на длинных каблуках). Высмотрел её в городе, куда его таскало во время одного из загулов. Живут в благоустроенной трёшке рядом с котельной, вместе с Михиной престарелой матерью. Вяжут носки и рукавицы, сбывают за курево и водку. Кроме того, Миха, набравшийся в лагере уму-разуму, чинит пенсионерам телевизоры и подшивает валенки морозостойкой резиной. Но главное в нём другое, а именно умение рисовать. Это у него с детства, годы отсидки лишь развили безусловный талант. Пишет незамысловатые картины: небо, река, кораблик.

Лес. Крест на угоре. Всё — мягкое, чуткое, нежное. Но чаще обходится шабашкой, будь то покраска забора или обновление табличек на бесхозных могилах. Напиваясь, Миха орёт на весь посёлок: “Богома-аз я! Богома-а-аз!” Почему богомаз, не объясняет. Хотя кое-кто говорит, что вместе с другими лагерными Миха участвовал в строительстве православного храма...

И так-то вот, таким-то незамысловатым способом они переправлялись через лягушатник, громко разговаривая между собой. А я стоял в школьной ограде, под синим куполом цветущей сирени, и боялся, что Миха споткнётся и упадёт вместе с бабой. Но и когда благополучно перебрали, всё не уходил, наблюдая за тем, как после короткого отдыха на берегу они поднимаются по косогору в лес. И чего-то радовался этим людям, тому, что вот пошли по грибы, ранние в этом году, первый слой, и Миха перевёз свою любовь на горбушке, и что белая, как патлы убитого им Сани, собачонка убегает по тропинке, а Миха, вылупив глаза, истерично кричит ей:

— Ты чё, рамсы попутала?! Тут же везде отморозки косолапые... Прячься за Люську!

...Простое житейское счастье простых грешных людей, их умение — или трудно осознаваемое желание — жить невеликой жизнью с её грубыми земными праздниками, их способность не задирать нос и довольствоваться малым, их — получается — нравственное смирение, их природная скромность в быту при всём его уродстве и при всей нашей мирской грязи — вот что ещё влечёт и вдохновляет меня в русском человеке.

## МУЗЫКА

Спасаясь от постороннего шума, так мешающего писателю, я, помнится, перепробовал многие методы, начиная с обычной ушанки и заканчивая стереонаушниками, которыми затыкался перед тем, как сесть за стол. Но ушанка ничем не помогала, лишь веселила домашних, координируя их в вопросе моей предрасположенности к уместным отклонениям. А с музыкой долго не мог определиться, поскольку та и сама мешала, отвлекая мозг, отвлекая мысль на думанье не о рукописи, а о самой музыке.

Наверное, мучился бы до конца дней и мучил домашних, терроризируя просьбами о тишине. Но в один чудесный миг случайно нашёл в интернете видеоролики с Эгасом Тонне — талантливым гитаристом-импровизатором, весьма известным, как оказалось, в музыкальной среде. И вся моя проблема сошла на нет, стоило надеть наушники и включить запись: так согласно легла музыка уличного менестреля на сердце, что и моей работе не вредила, и свою исполняла. А вскоре заметил, что этот живой пульсирующий тон, напоминающий парение беркута над пустыней, не просто помогает в корпении над словом, гася вторичные звуки извне, но и способствует развитию собственного творческого импульса, создавая определённое настроение и высвобождая накопленную энергию.

Так было, когда писал прозу. Но вот накатила волна стихов — и бытовая колготня за дверью подступила с новой силой, так что гитара уже не справлялась, словно захлёбываясь в картавом рокоте всего, отчего гибнет искусство и к чему так безучастно равнодушны близкие нам люди. Более того, и другие, самые интимные звуки жизни, будь то сигнал полученного электронного сообщения или ляганье чайной ложечки, стали как будто обострённее. Точнее, мозг мой и всё моё существо сделались восприимчивей к ним и непримиримей, и чем лучше писались стихи, чем поток их был первородней и нескончаемей, тем это набухание враждебных поэзии звуков мира становилось явственней и невозможней. И я понял, что хотя проза — та ещё чертовка, всё-таки поэзия ревнивей к музыке и когда приходит, требует, чтобы все другие музыки, большие и малые, заткнулись. Ей все — не те, ей всё — мешает, даже пение синицы за окном, и нет для неё иной формы присутствия, кроме Слова, произнесённого в молитвенной тишине.

## МОНЕТКА

И приходит час: ломается что-то в тебе, в природе, и хотя последующие дни всё ещё красны, нет в них былого великолепия, а то, что есть, суть жалость к себе и тоска по уходящей жизни. Нынче ещё благодать, светит солнце и акварельно синееет воздух, небо над этим берегом Лены в редких клубящихся облаках, а над тем и вовсе чистое, голубое, но тени облаков с этого берега уже досягают и до противоположного и лежат на тамошнем диком угоре дышащими копиями, и много в этом глубокого значения и смысла.

Назавтра дует сквозной ветер, буравит дождливую наволоку над посёлком и свинцово-синюю рябь в реке, и в тайге за Леной с самого утра надрывно кричит кедровка. Идёшь со свежим горячим хлебом из магазина — на крышу соседнего дома реденько, пробно сыплются с тополей первые, уже пожелтевшие листья, притом что на дворе только середина июля. В тусклости ненастного позднего утра особенно печально это неприметное для мира падение, всякий раз чудится, что с каждым упавшим листом что-то источается в родном, милом, бесконечно дорогом, словно из тебя норовят вырвать побольней, как доску из забора.

И хочется, невозможно мечтается сделать что-нибудь доброе для людей! Написать, например, всем нужный рассказ. Или, как в детстве, найти по дороге волшебную монетку, не затем, что так уж деньги нужны, а чтобы — как в детстве, чтобы — для людей. Чтобы, выгнутая умиранием, не лопалась так грустно эта ранняя листва под ногами, а вывернув душу, как карман, смог положить на лобное место пусть не книжку, но какой-либо иной знак того, что ты жил, любя эту землю и этих людей, и на прощание если для чего и оставил свидетельство своей любви, то уж, конечно, не в память о себе, а в благодарность за годы, прожитые рядом.

## ВО ВРЕМЕНА ЛЕРМОНТОВА

Во втором часу ночи — страшная гроза, метание синего металла и судорога электричества. Чернота на весь посёлок, чёрные деревья за вспученной рекой и чёрные нахлобученные тучи над крышами. И вот — сплошной, шумный, вдохновенный, сияющий каждой каплей в темноте! Бьёт наотмашь. Тяжёлые дробины, ударяясь о стёкла, лопаются, как сырые яйца. От воды, быстро натекающей с крыши, в жёлобе надуваются пузыри и с клёкотом, тесня друг друга, катятся воробьиной дракой. Под такой грохот и рокот жутко и хорошо спать, накрывшись с головой, вспоминая во сне неким особым умением памяти, что так же спокойно и умиротворённо было в утробе матери, меж тем как буря мира уже разыгралась и ждала твоего появления на свет...

Наутро сине, рассветно, заветно на земле, как в ранние мгновения жизни. Но и пусто, как во времена Лермонтова, и грустно, и некому руку подать. И ёжишься, умываясь в огородной бочке, и скорей бежишь в дом, наступая на склизкие выползки дождевых червей, которые вылезли на разбухший тротуар, где их осадили и убили чёрные садовые муравьи.

## МАЛЬЧИК НА КАЧЕЛЯХ

Когда окончательно убедился, что писать, несмотря на все потуги, не смогу, выключил компьютер и вышел во двор. И увидел на детской площадке, по ту сторону дороги, мальчика лет восьми. Один-одинёшенек, он качался на качелях, и первые минуты казалось, что нет для него ничего дороже этого взмывания, а затем дыбящего душу стремительного падения вниз. Но внезапно он с силой затормозил, взрыв ботинком борозду в песке, и когда дощатые санки на двух железных прутьях не сразу, но остановились, поспешно слез, заправил рубаху и быстро-быстро пошёл через пустырь, отмахивая панамкой прыгающих кузнечиков...

И кто скажет, что стало причиной его беспокойства? Может быть, у него появились братик или сестрёнка, и ему как старшему стали уделять меньше внимания, и он прибежал на качели, чтобы вспомнить, как его, совсем маленького, подбрасывали и ловили мамины руки, но вскоре понял, что бывают в жизни невозвратные мгновения, и пока он ещё качался, а я любовался им, маленький человек неизвестно для окружающих перенёс первое глубокое разочарование, как переносят на ногах инфаркт, и хотя шёл потом к маме, не было в целом свете существа более несчастного и одинокого.

## ЛЕТИТ АНГЕЛ

Сначала — шорох на крыльце; скрип, какой бывает, когда под башмаком камешек или стёклышко. Потом — брякнувшая замочная плашка (как будто кто-то впервые в жизни увидел её — или в первый раз дотянулся — и, ещё не зная о её назначении, приподнял, рассмотрел и уронил, и она стукнулась). Подождал (я) — не ослышался ли? Нет, не ослышался: в дверь — как если не кулаком, а игрушечным молоточком. Открыл — мальчик с пальчик, стриженный “под горшок”. Две ямочки на щеках — улыбается. Но и всамделишная, прямо-таки взрослая озабоченность:

— Мамка здесь? А где?

Уходя:

— А вы кто?

Шёл по двору, разя траву налево и направо гибким стеблем черёмухи. Китайская выцветшая маечка с драконом, подвёрнутое — на вырост — трико, хлябающие — тоже на два-три размера в запас — шлёпки. Надежда во всём — найти, подбежать, обхватить...

Через час — тот же шорох, скрип, стук. Только бряканья плашки не было. Открыл — снова он:

— Мамка здесь? А где?

“Мамка” — поселковая фельдшерица двадцати семи лет — фестивалит с подружками в соседнем посёлке. Мальчик ждал её дома, потом пошёл искать. И, наверное, забыл, что ко мне уже заглядывал. Или подумал, что пока его не было, “мамка” пришла.

Сказал ему, что мамка уже дома. Спыхватился! Поднимая выпавший прут — с тревогой:

— А вы кто?

В сумерках всё повторяется. Но уже ни шороха, ни скрипа, ни ямочек на щеках. Требовательный стук и в глазах — испуг:

— Мамка где? А вы кто?!

Ушёл, как ни задерживал. Колол темноту вокруг себя своей сабелькой. В этих стоптанных шлёпках на босу ногу...

Стоял на крыльце, не зажигая света. Смотрел, как он идёт по улице, подсвеченной лишь надворными фонарями, и тень его летит впереди — ангел с дротиком в руке. И вдруг так заломило — как если смерть завтра, лёгкая и ранняя, с ветром поутру! И надо успеть дописать свои записки, выкурить последнюю сигарету, позвонить и сказать что-нибудь хорошее маме...

И пока стоял и смотрел (мальчика уже не было видно, но ангел ещё летел), всё пытался разобраться в себе, выждать и понять: отчего это внезапное беспокойство?

Почему эта смертельная тоска, как будто уже никогда не увидишь?

И что тебе в этом мальчике и в том, что, может быть, больше не увидишь?

И зачем он так настойчиво спрашивал, кто ты, словно тоже хотел разобраться в себе, высмотреть и распознать в тебе что-то такое, что лишь одного его тревожило в этот миг и чего ты сам не видишь и не слышишь?

А когда запер дверь и стал ходить большими шагами, прислушиваясь к звукам на крыльце, явилась и вовсе неожиданная мысль: а если это был покойный брат? Что, если он продолжился в этом мальчике, как прежде — в лесу, в избушке, в охотничьих ловушках, в словах, в наклоне букв?

...Назавтра Александра — “мамка” этого мальчика — сказала, что весь вечер была дома. И соседка (позже) подтвердила, что застала её в огороде, когда приходила за спичками. Игорёк, сын Александры, поливал капусту из маленькой леечки, а после мультиков снял шлёпанцы и лёг спать.

И я понял. Всё своё вчерашнее беспокойство. Тоску свою. Брат это был. Мальчик тоже был. Но был и брат. И с того случая, оставаясь один, жду, когда за дверью снова заскрипит камешек или стёклышко. Отныне я знаю, что ответить этому мальчику. Теперь мне известно — кто я. Кто — он. Кто — все мы. Что вообще наша жизнь и смерть, если мальчик ищет маму, и летит ангел над вечерней дорогой, и ничего кроме этого нет.

## “И БЕЗДНЫ МРАЧНОЙ НА КРАЮ...”

Читаешь ли классику, слушаешь ли рассказы стариков — всегда это мучительное чувство горечи: какие люди были! Не то, что нынешнее племя! Смелчал народ. Схудал. Одни глаза остались...

И ты, конечно, не стоял в стороне и сам вместе со своим народом — смелчал и против тех, вчерашних писателей, уже не составишь силу.

Всё это так. Всё это — правда. Не объедешь. Не сдвинешь.

И всё-таки вот ещё о чём я думаю: да — смелчал народ! Да — худал! Да — только глаза остались! Да — о тех, былинных, теперь знаешь разве что по книжкам и рассказам стариков! Но зато и счастливо совпало в твоей жизни — увидеть народ в смуте, когда самим временем, на кипящих перекатах истории этот народ испытывало, измалывало, измывало, источив основу, но и вымыв корни. И можно, конечно, напаять очки и брюзжать: дескать, многое прогляпили... выродился народишка... Федот, да не тот!.. А лучше раскинуть мозгами и увидеть, чем народ стоит, несмотря ни на какие жернова, медные трубы и гидротурбины истории.

А ещё то важно, что в этот трагический для твоего народа момент сам ты был юн и открыт, корнями наружу, и боль и любовь, крик и молчание, печаль и чаяния своего народа особенно остро воспринял обнажённой душой. И вы всё равно что схлестнулись, сплелись всеми вашими корнями, а поверх выросла крепкая заболонь, и в каждую щёлку затекла целебная смолка, спаяла навеки, так что вас уже не разорвать, а если и разорвать — трещина пройдёт сбоку, а не между.

## РОДИНА

По ту сторону Лены — валы. Тянутся лентой вдоль реки. Когда-то лес на угоре свели под пашню. Годную древесину свезли на строительство, а пни, вершинник и прочий хлам столкали тракторами в один длинный ряд, под сопку, как бы очертив границу, за которую отступила тайга. Со временем всё это высохло. Издряхло. Обросло кустами шиповника, малины, смородины. Между светятся алым лепестки иван-чая. От них такая печаль на сердце, как будто прямо сейчас упадёшь, и тебя поднимут на руки, отнесут и положат в дикую траву, под это низкое небо, а когда вернуться с подводой, тебя уже там не будет, даже следа не найдут...

А на дворе август. Поспела ягода. Из деревни на валы идут с вёдрами в руках и горбовиками за спиной. Мужики, бабы, дети. Из тайги — медведи. От деревенских — пестрота разноцветных пластиковых вёдер и шум. От медведей — ископанные муравейники и наматые в кустах поляны. От тех и других — тропы. Всё утро в молодом осиннике рядом с валами злобно твякает “звонок” — маленькая домашняя собачонка, которую кто-то взял с собой. Кто там — человек или медведь — неизвестно. Да это и неважно. Никто не обращает внимания. Дядя Коля-бабки-Варин сидит на колоде и рвёт рясную красную смородину прямо в горбовик, подсыпая листьёв, чтобы досадить старухе, которой предстоит обдывать на противне и катать по яголке утиным пёрышком. Проходишь мимо в сторону лая — с самым серьёзным видом напутствует:

— Поднимешь мохнорылого — гони на баб или на сенокосчиков!

...Кто-то скажет, что о чём-то таком писали тысячу раз, и что ничего в этом нет. Да, наверное. И писали, и ничего нет. Всё это так. Но бывает у русского в жизни, когда всё — впервые, ибо впервые — до слёз. Тогда увидишь иван-чай на месте вековой тайги — и многое узнаешь о жизни, о смерти, о наших стараниях. А услышишь родное словечко — и полюбишь свой народ, словно встретились на узкой тропинке. И вот уже небо не столько низкое, сколько близкое, и смородина, как встарь, рифмуется с Родиной, и рифма ничуть не истрёпанная, западает в душу и горит, как эти красные ягоды на валах по ту сторону Лены, по эту сторону Леты. Отныне если даже и упадёшь, всё это с кем-нибудь опять повторится, как и до тебя повторялось не раз! Пусть и следа твоего не останется, но будет жить эта печаль, а с нею и русский человек. И собака, как прежде, будет лаять в осиннике, и не ты, кто-то другой пойдёт на её лай, но вдруг остановится и поймёт, что всё это когда-то происходило. И улыбнётся, покусывая горькую травинку.

## ТРАВОЙ И ТЕЛОМ

### 1

Ехал на велосипеде в тонкой нейлоновой рубашке, которая приятно холодила тело, как если бы его обложили свежескошенной травой. А кусты черёмухи, свисшие над дорогой, обдавали вечерним трепетом, теплом листьев и самого дерева, напитавшегося за день солнечным светом. Особенно контрастно этот трепет и это тепло чувствовались теперь — в час, когда от земли уже поднималась ночная прохлада, а я ехал в нейлоновой рубашке. Ехал, в общем, от куста к кусту, словно от одной точки сконцентрированного тепла к другой. И для большего счастья, для лучшего ощущения свободы и полёта не хватало одного — сигареты, чтобы с отмашкой курить на встречном ветру.

### 2

...На днях мама — с намёком:

— К нам в школу учительница приезжает. Девушка!

— И что? — спрашиваю.

— Ничего, так просто сказала! — а сама смотрит.

И у самого уже — то же ощущение полёта, что и во время езды на велосипеде! И прежнее желание — только уже не сигареты, а приезда этой неизвестной мне девушки. Этого встречного ветра в моей жизни. Возвращённых семнадцати, тепла рук, прохлады свежескошенной травы...

### 3

Как там у Гандлевского?

*“Казбечину” с индийской коноплёй  
Щелчком отбросив, вынуть парабеллум.  
Смерть пахнет огородною землёй,  
А первая любовь — травой и телом.*

## КРАТКИЙ РОМАН\*

...Была чуть выше, особенно — встав на каблуки. Любовалась собой, идущей над. Плывущей поверх моей коротко стриженной. И там, на крыльце, когда заворотил, — змеей взвилась, оплела, ртом, языком жалиющим

\* Даётся в сокращении из цензурных соображений. — Прим. автора.

настигла, впилась и не пускала, пока дядя Вася не зажѣг свет и не буркнул из сеней: “Ну вы чѣ тут, мышей ловите?!..”

...Любил, когда кормила из рук, сидя за спиной и обжав тонкими, как у кузнечихи, коленями. Голову кладя на плечо. Поднося ко рту красные арбузные нарезки и командуя: “Скажи “а-ам”!” И не было большего удовольствия, чем перебирать губами эти красивые смуглые пальцы, сосывая сладкие капли. Целовать подушечки, ноготки, ласково царапать зубами. Смущать: “А теперь — где?..” — и самому смущаться её босым великолепьем, сняв, как шкурку с омуля, золотистый чулок.

...Всѣ в ней словно соединялось металлической спицей в узле её каштановых. Казалось: выдерни, как вилы из сена, — рассыплется воздушным, чутким, летним, и ветром ответит всѣ ненужное. Повалится в руки всеми своими распущенными. Позвонками девчоночьими, птичьими. Стекольным холодом кожи. И всякий раз требовательно отстранялась, торопливо застѣгивалась, неловко заведя руки между лопаток. Сидела волчонком, ершась и щерясь: “Ничѣ-ѣ!..”

...В тот вечер слушали музыку, как волшебной ниткой, соединѣнные маленькими наушниками, одними на двоих. Неожиданно скovyрнула свой динамик из уха. Стряхнула босоножки. Одну, другую. Залезла с ногами на кровать. И стало слышно, как в кнопочке, свисшей на проводке, томясь и тесня друг друга, толкаются далѣкие голоса.

— Я — сама... — когда поднырнул, вздел её светло-зелѣное и долго, щедро поцеловал сначала в загорелую, с пушком, шелковистую кожу с внутренней стороны бедра, потом — в сетчатую полупрозрачную ткань, запавшаую волнующей чѣрточкой. И сама, действительно, выгнулась, скомкала быстрым движением, отщипнув большими пальцами обеих рук, подоткнула под себя подушку, подвигаясь животом, и, словно бабочка крылья, разложила поджатые в коленях ноги.

...Лежали потом, пустые и усталые. Налипнув друг к другу влажной кожей, как две скошенные по росе травинки. Головами дышащими склоняясь. Засышая. Себя забывшая...

Обманываясь тем, что это — навсегда. Всегда — этим цветкам, травам.

## ВАРНЫЕ ДНИ

Над осиновым леском — солнце. Красное, длинное, как свешенный язык. Ветром теревит верхушку (уже потускневшую, но ещё не слезавшуюся) недавно смѣтанного зарода. Пыль на крыльце и в сенцах. Жажда грозы. Она вчера прогрохотала вдали, но посѣлок обошла стороной...

В среду докашивали. Нынче собирали. Травостой — никакой. Чахлые редкие былинки. Сгребли на одной лужайке — с грехом пополам, но выросла копѣшка. Счесали на другой — и того нету.

— Пустоту скрести, — сказал бы дед.

К обѣду вовсе пекло. Нетѣсовы от мала до велика гребут в белых косынках, и от этого, наверное, так бронзовы их лица и шеи. Подняли, поставили в валки, чтоб обдуло на ветру, — она, сама, уходит проверить хозяйство, ребяташки Кешка с Тонькой отпрашиваются на речку, а Нетѣсов заводит мотоблок, принимается за нескошенные делянки. Идѣт по лугу, а под ногами у него взрываются сухие облачка пыли, когда скосит муравейник или нарытую землеройкой горку летучей луговой земли...

— Варные дни, — сказала бы бабушка.

“Дзнь! Дзнь! Дзнь!” Это черниговский Петька катится на велосипеде, полиэтиленовый двуручный пакет с обедом надет на руль. Окликает Фомичѣву Татьяну, уже немолодую приезжую женщину, которая ворошит сено на задах, сразу за избой, то и дело кладя грабли поперѣк вала и доставая платок, чтоб утереться:

— Ну как, Татьяна, покос? Ништяк?!

Приехал к отцу, который с утра подцепил грабли и поехал грести, а тот, обратав низину за силосной ямой, возле электроподстанции, сидит возле трактора, на поляночке, накрыв голову газетой...

За Петькой бежит младшая сестра Инга в голубеньком платишке, в тапочках на босу ногу. С куском солёного хлеба в руке. Русая, соломенная! Зовёт бычка, пасущегося на меже:

— Быча, быча! На-ка чо дам...

Томшина со своим Оковалком обчесали покать у свинарника и теперь отдыхают в тени за “газиком”, отпахнув дверцу, дабы тень была просторней. Сидят прямо на траве, вытянув ноги. Пьют из термоса. Едят хрустящие огурцы. А выше по лугу гребёт какая-то неизвестная чепушила, вся в белом, в белой широкополой панаме, в белых шароварах...

— Всюду родимую Русь узнаю, — сказал бы Некрасов.

## ПЕСНЯ

Пробрело на пастбище деревенское стадо, харкнул выхлопной трубой трескучий мотоцикл пастуха, скрываясь в лугах за огородами, осела пыль на дороге — поехали с Петрованом за сеном.

Заезжали за телегой: большой крепкий пятистенок на фундаменте, рубиново-красные — из морёных листовниц — столбы ворот с парадным двускатным козырьком, каждая досочка выбрана по краю изыщной фасочкой. Сбоку — кнопка электрического звонка, накрытая лоскутом резины. Петрован нажал — отворила женщина в цветном, напоила из ковша, а пока пили, вынула затычину — толстый деревянный засов. Ворота, как створки ларца, запахнулись: подворье раздольное, ладное, с летней кухней-поваркой в центре, с собакой у амбара и гроздьями мокрых сверкающих склянок, надёрнутых на штaketник. С крыльцом — высоким, синим, остеклённым с боков, чтоб не секли дождь и снег! Живи, как говорится, и радуйся, имей жену, детей, не пей, не будь писателем, приходи с пашни — уставшим, но с толком прожившим день, сиди на пуфике у порога, закрыв глаза. И доча, шлёпая босыми ногами, поднесёт кружку молока с кремво-жёлтой пенкой по ободочку...

И снова меня очень взволновало: русский быт, старые наши избы, ум былой крестьянской жизни! Но и разрушение всего, невозможность окликнуть, придержать за рукав, поклониться в пояс и сказать: “Останься! Ноги мыть буду...”

Спасибо, день разыгрался по-летнему жаркий, с солнцем и облаками, с граем воробьиным и лаем собак. Уже не ночной влагой, а пылью пахло от вчерашней кошенины. Воздух гудел, живя жизнью тысяч насекомых. На косогоре за перелеском, где когда-то были колхозные, после совхозные пашни, которые нынче задурили, рокотал самодельный трактор с красной фанерной кабиной. Это Осипов косил свою деляну. Косилочные ножницы блестели, напшифованные, сквозь зелен падающей травы. Хотя какая там зелень на ветряном солнечном юру — слёзы одни, лишь с большой площади и наберёшь! А пуще скребёшь пустоту, волоча ещё на корню иссохшие былинки или свалывшуюся в бороду заросль мышиноного гороха с чёрными впалыми стручками...

Петрован, пока мы размётывали кошны и сгружали в телегу, всё смотрел, как Осипов косит. Заметив, что меня привлекло его внимание к такой, в сущности, обыденной картине, смутился и словно в оправдание себе сказал:

— Милое дело — роторная косилка! Ею и этот молодой сосняк на пашнях скосить можно. Чо не можно-то? Скосить, так оставить, за год-два перегниёт — ещё даже лучше родиться будет. Рожь ли, пшеница. Попрёт, как на опаре...

Вывезли и отметали в сеновал первую телегу — собрались за второй, тем более что солнце было ещё высоко, да и погода позволяла. Но возница наш отлучался, а вернулся гораздо веселее, чем ушёл, вдобавок с неистребимым желанием высказать каждому встречному-поперечному, кто тот есть на самом деле. Словом, пока-а завели с ним, пьяненьким, заглохший и уже остывший “Беларусь”, испробовав дюжину свечей зажигания, которые забрасывало топливом, так что пропадала искра; пока-а Петрован накурился до посинения, сидя на лавочке возле дома и бахвалясь тем, что просыпается



раньше всех в деревне, между тем как вшивая интеллигенция вроде меня вытряхивается из постели, когда петухи давно пропели; пока-а напился чаю у сеструхи, к которой его повлекло по какому-то якобы неотложному делу... “Смеркалось. Петровна всё не было...” — можно было бы написать в рассказе.

Рассказа, впрочем, тоже нет, притом что уже не раз и вставало, и садилось моё солнышко, и вместе с ним то подступала, то уходила не солоно хлебавши любимая с детства деревенская Россия. А я всё молчал, не находя слов ни для встречи с ней, ни для расставания и мучась тем, что нечем ответить мне на её избы, ворота, женщин, море в запотевшем ковше, и больше всего боялся, что так-то вот однажды если не захлебнусь в часы её прилива, то упаду с порванным сердцем, и не спою её так, как могу, как надо, как обязан спеть и, может быть, ради этой песни живу на земле.

## ВСЁ ТИШЕ ДУДОЧКА ПОЁТ

Со стороны ДК — музыка: празднуют День села. С начала нулевых повелось — справлять в последнее воскресенье июля или, как нынче, в первую субботу августа. Старики сказали бы: “Имя, падлым, на пашню надо, а не костями дрыгать!..” Но старики поумирали, пашни — заросли, нет ни словам, ни земле никакой веры. Зато уже с утра над центральной улицей — разноцветные ленточки на шпагате, от столба к столбу. Трепещут на ветру. Большое крыльцо, пристроенное к глухой стене клуба, украшено воздушными шарами. Это уличная сцена. На неё вынесли громоздкие, ещё советские усилители звука, чтобы и в Москве знали: в Казарках пальцы веером и дым коромыслом.

Под вечер к клубу идут и идут, а ребятишки и вовсе бегут, теряя шлёпанцы. Вот столпились на пустыре, где в девяностые сажали картошку, а с недавних пор открыли дворовую танцплощадку с рядами лавок напротив сцены. Чадят мангалы — дымные, едкие. И уже кое-кто ходит с первыми горячими шашлыками, снизанными на деревянные шампуры. Дети прыгают на батутах — специально привезли из города, 150 рублей за 10 минут пользования, или покупают в палатке сахарную вату на палочке, рвут сладкое облако, вгрызаясь до ушей. Местные коммерсанты сдвинули столы и выставили товары. Жёны рыбаков соорудили прилавки из перевёрнутых картонных коробок, торгуют копчёными хариусами (80-100 рэ за хвост). Взрослые хлещут водку. Молодёжь — пиво и коктейли. Из районного Дома культуры пожаловали гости — гвозди вечера. Опаздывают, курят на ходу. Артисты — в помятых брючках, с красными носами и крупными порами на спитых лицах. Артистки — крашенные, хриплые, толстые. Приплясывают, как проститутки на морозе, горланят Пугачёву и Стаса Михайлова. Старухи, послушав песню-другую, разбредаются восвояси. Прижимаются к заборам: туда-сюда гоняют машины и мотоциклы. Смех, веселье, визг! В полночь — огненные брызги над посёлком...

Вообще, грустно. С детства не любил праздников, тем более таких вот — с дешёвой помпой, с благодарственными письмами по случаю, с речами, с целованием тружеников тыла и распеванием пошлых песенок:

*Ты меня любишь?*

Из первого ряда (в котором полно учителей, в основном — старше сорока) — дружно, азартно:

*А-га-а!*

Снова со сцены — игриво, вертя кобыльим задом:

*А ты со мной будешь?!*

Ещё громче, ещё согласней в ответ:

*А-а-га-а-а!!!*

...С огромной болью чувствую собственное старение, уход грядущий, бесконечный чёрный тоннель впереди да белую маковку лесной черёмухи, которая, пожалуй, одна лишь и помашет вослед. И никогда так тяжело не переживаю одиночество, как в дни народных гуляний, которые на поверку и не гуляния вовсе, а вот уж истинно — массовые мероприятия, бесовская сбегица на скорую руку. Тогда — ржач у клуба и праздничный салют в небе! А старухи идут, прижимаясь к заборам. И всё тише поёт моя дудочка. Всё громче печаль оттого, что не с кем разделить радость от её едва слышного пения. Безжалостней скорбь, ведь и саму дудочку передать некому...

Бог мой, кому они подпевают?

## БОСИКОМ ПО ТРАВЕ

Вчера наконец-то был хороший дождь. Налил бочки и даже немного пополнил Лену, которая от засухи двух последних недель совсем приуныла, и танкера идут, на перекатах со скрежетом бороздя дно, выпрастывая за собой шлейфы мутной воды. А нынче с утра — свежайший ветер! Как в сентябре. И яркая-яркая густая синева, тоже почти осенняя. Мокрая зелень — повсюду. Рябая от мелких волн и как будто засвинцовевшая Лена. И ни одной тучки весь день! Спуститься к реке — лодки, чайки, бакены. Ветром пенит на спине выпущенную рубашку. Рубашка хлопочет, холодит. Ощущение сильное, тревожное, умоляющее...

И что-то грустно, как всегда в эту пору, когда в природе отчётливо прорисуетса осеннее. Всё боишься что-то важное потерять, и знаешь, что каждый миг теряешь, и ничего поделать нельзя. И снова душит неудовлетворённость собственной жизнью, в которой никем ни для кого не стал: ни матери любимым сыном, ни женщине любимым мужчиной, ни читателю любимым автором.

Хочется снять кроссовки и босиком, как в детстве, уйти по траве.

## РОБИНЗОНЫ

Больше суток то накрапывал, то хлестал, клохча в жёлобе, дождь. И вот с вечера перестал. А нынче пасмурно, небо с поволокой. Лес дымно курится, особенно в распадках и на склонах сопок. Деревья ярко-зелёные, глянцевые, как на цветной фотобумаге, ещё сырой от проявителя, и какую-нибудь отволгшую, тем больше почерневшую сухостоину с обвисшей корой видно издалека.

Дождя нет, но временами сеется мокрая пыль. Без ветра дрожат листья рябины и некоторые уже сворачивают на осеннюю желть с характерной пурпурной краснотой, похожей на ту, что бывает на коже от горчичника. На листьях капусты переливаются капельками оловянной полуды бусины вчерашнего дождя. А у забора едва зримо колеблется кусток полыни, и если растереть в пальцах, потянет невозможно пронзительным, горьким, таким, что спай в горле...

Нет, всё-таки хорошо жить! И сколь грустно оттого, что дни жизни так скоро проходят. Вот и пролистывая нынче фотографии, беспорядочно сохранённые в компьютере, невольно вздохнул: одни снимки — двухнедельной давности, другие — двухгодичной, а никакой разницы нет. Всё как будто вчера было: текла вода в весеннем лесу, бежала собака по разбитой лесовозной дороге, а бабочка сидела на пороге рыбацкой избушки и, казалось, жмурилась от утреннего света, бьющего в открытую дверь, как мы щуримся от него, рождаясь, и так до последнего дня, когда дверь закроют.

Ещё раньше, с утра, посмотрел “Робинзона Крузо” в экранизации Говорухина, с Куравлёвым в главной роли. Фильм наивный, слабый, но сыграно и снято талантливо, с сердцем и душой. И столь предельно близок теперь человек на безлюдном острове, хотя в детстве, когда читал книгу, не замечал никакого родства! И полынь ещё так пахнет после дождя, и Земля с этим вот посёлком на берегу Лены тем дороже, что не навсегда дана тебе. И все мы, в общем, в известном смысле робинзоны, живущие в ожидании возвращения, так что, отправляясь в путь, пожалеем, быть может, лишь об этом запахе полыни как незначительном признаке того, что мы всё-таки были.

## СИЛА

Нечаянно вспомнилось из школьной поры, как летом, во время каникул, рубил в тайге ловушки на соболя, готовясь к зимнему промыслу. И в корнях большой рослой ёлки вырыл какой-то старинной выплавки бутылку из толстого зелёного стекла. И всё ворохнулось: откуда она?! Записки в ней не было. Но в самом обнаружении этой бутылки было что-то мистическое, провиденциальное, как будто сама земля подсовывала некие приметы прежней жизни, какого-то давнишнего мира, и ты через эти предметы словно прикоснулся к тому давнишнему миру, к той прежней жизни, в которой остались твои предки, откуда растут твои корни, может быть, вообще всё твоё, а прикоснувшись, услышал то, что земля говорила тебе этой бутылкой. И тогда очень согласно вошло ощущение первородной силы, скрепы, соединяющей века и поколения, памяти, зрящей сквозь плоть, языка, звучащего ныне и присно. И так же спокойно, ровно явилось понимание, что род человеческий бессмертен, пока живёт в тебе эта сила.

*(Окончание следует)*